

Верность мне ты докажи,

Клятву не забудь.

Жизнь свою мне предложи,

Жертвою ты будь.

Ирина Кавинская

ПАРТИЯ ЖЕРТВЫ



INSPIRIA

Москва
2022

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
К12

Иллюстрация на обложке — *Noora Pine*

Дизайн переплета *Екатерины Петровой*

Кавинская, Ирина Анатольевна.
К12 Партия жертвы / Ирина Кавинская. — Москва :
Эксмо, 2022. — 320 с.

ISBN 978-5-04-168729-8

Алина — юная балерина. Она грезит театральной мистикой и мечтает в дебютном спектакле доказать, что является Воплощением Искусства — танцовщицей нездешнего дара, чья виртуозность не сравнима с мастерством, доступным человеку. Она борется за главную роль, не подозревая, какая партия ждёт её на самом деле.

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-168729-8

© Кавинская И., текст, 2022
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2022

Пролог

Старое здание Мариинского театра выгорело почти дотла. Я иду сквозь почерневший от копоти зал среди хаоса обугленных и покорёженных стульев к оркестровой яме. С огромной дырой вместо сцены она похожа на разверзнутый зев.

Ненасытная пасть Искусства — вот что передо мной. Плотоядная глотка. Примы, премьеры, солисты, корифеи, кордебалет... Все сгинут. Останутся только Воплощения.

Что такое балет, как вы думаете? Партитура, рисунок танца и хореографический текст с подробным описанием каждой позы и каждого жеста? Ха! Всё это не более чем стопка макулатуры. И жалкие кривляния пятого лебедя в заднем ряду не танец, а только подёргивание мышц.

Вы когда-нибудь чувствовали, глядя на сцену, как по спине ползут мурашки? Забывали дышать, ощущая каждое движение танцора как своё собственное? Это вы несётесь вихрем в тур анлер, вы

Ирина Кавинская

взмываете над сценой в немыслимом баллоне... Кажется, будто вы проспали весь спектакль, но сон был волшебным. Вас окутывает приятная усталость. Большинству не дано почувствовать ничего подобного, но если с вами случилось такое, значит, вы действительно видели балет.

И на ваших глазах билось в агонии живое Воплощение Искусства.

Сложнейшие партии, после которых заскорузлые от пота и крови вкладки в пуанты не отодрать от кожи, — суть агония. Но в ней-то оно и живёт. Искусство. Живёт лишь два часа, пока идёт спектакль. Потом опускается занавес, и стихают последние аплодисменты, знаменуя его смерть.

Последние зрители ещё топчутся в ложах, а по залу уже расплзается тошнотворно-сладкий запах тлена. Обонятельное послевкусие боли. Сцена пропитана потом, который перебивает этот смрад. Но если спуститься в опустевший зал, дыхание перехватывает. Кажется, будто находишься в могиле. Теперь так и есть.

Они боятся обрушений, и здание театра оцеплено, но я прихожу каждый день. Здесь очень холодно. Гулкие отзвуки шагов в пустынном зале стихают не сразу, как будто кто-то крадёт по моим следам. Я замираю и вдыхаю плесневелую сладость, которая разом сгущается вокруг. Тот, кто ходит за мной... Теперь я знаю, кто ты.

Глава 1

АЛИНА

ВЕЧЕРНИЙ КЛАСС

Первая позиция. Я сливаю гран-плие. Ужасное чувство: я лажаю, но не могу скорректировать движение. Приседаю, а колени идут не туда, и я знаю, что дальше будет только хуже. Сажусь ещё глубже, сгибая ноги по-лягушачьи, и понимаю, как жалко это выглядит. А он смотрит. И тоже понимает это. И понимает, что я понимаю.

Мы встречаемся глазами, и мой взгляд кричит: «Знаю! Знаю! Знаю! Пожалуйста, ничего не говорите!» И он молчит. Пока. Даёт возможность выправить позу самой. Пот холодит спину. Но это ещё не тот липкий и горячий пот, которым купальник пропитается насквозь после больших батманов — к концу работы у станка. Этот холодный, мерзкий. От осознания, что я лажаю. Лажаю под взглядом репетитора в свой первый день в Вагановке.

Вчера для меня начался февраль в Питере. Дикий холод и толчея. Невский проспект звенел китайским «дзинь-дзянь», а от вспышек камер на те-

лефонах было светло, как днём. Я неслась с чемоданом от самого вокзала — нужно было успеть в академию до закрытия, встретиться с ректором и забрать ключи от квартиры. В общежитие меня не поселили: нет мест.

Путь от площади Восстания до улицы Росси оказался тем ещё приключением. Только что сыпавший снег спустя пару минут хлюпал под ногами грязной жижей. Жуткие бутафорские зебры и осьминоги тыкали мне в лицо какими-то афишами, впихивали листовки. Пыталась увернуться, но с чемоданом оказалось не просто: весь этот мусор осел-таки в моих карманах. «Спа-салон». «Тайский массаж». «Экскурсии по центру. Знаю каждый дом»... Каждый дом? Как такое вообще возможно, когда они тут друг на друге громоздятся? Это тебе не Пермь, где весь центр — два с половиной здания...

Наконец, передо мной был большой театр. Большой — в смысле размера. Но он и внешне походил на тот Большой, о котором я в детстве мечтала. Сейчас знаю: туда мне путь заказан. Даже в кордебалет. Да что там, даже в миманс.

Академия обнаружилась сразу за театром. Вахтёр пропустил меня, скривившись от просьбы последить за чемоданом. Только полчаса — не больше — смена уже закончилась, а ночевать в «этом месте» он «не подряжался».

ПАРТИЯ ЖЕРТВЫ

Академия русского балета. Великая Вагановка... Поднимаясь по лестнице, я вглядывалась в портреты великих балерин: Павлова, Спесивцева, Уланова...

Говорят, они шепчутся, увидев Воплощение.

Я замерла, напрягая слух, но в мрачной тишине слышались лишь завывания ветра — сквозняк вырывался из второго этажа и гулял по лестнице.

Чем пристальнее я разглядывала портреты, тем меньше они казались похожими на те открыточные репродукции, которые знает каждая балетная девочка. В приглушённом свете силуэты балерин выглядели кривыми, исковерканными. Не арабеск, а обречённый, бросающийся с обрыва в бездну. Не экарте, а утопающий, хватающийся за несуществующую соломинку. Не тирбушон, а бледное тело, окоченевшее в неестественной поломанной позе.

Лестница упиралась в полутёмный коридор. Проходя по нему, я оглядывала сквозь стеклянные дверные вставки залы для занятий: где-то среди них тот, в котором умерла ученица...

Интернет бурлил после того случая, но не прошло и месяца, а уже можно «угуглиться», пытаясь отыскать о нём хоть что-то. Сначала имя девочки пропало из заголовков, а следом и все упоминания о ней исчезли. Правду так и не узнали. Искусство умеет хранить свои секреты.

Свет горел только в дальнем конце коридора — в приёмной ректора.

Далеко не лучшая в Пермском, переводясь в Питер на выпускном курсе, я понимала, что меня ждёт. Точнее, примерно понимала. Я думала: «Ну не поставят в центр, и ладно. Тянуть гран-батман хоть у всех на виду, хоть в дальнем углу класса — всё одно...» Я не ожидала, что меня вообще не пустят в этот самый класс и я окажусь в вечернем — для отстающих.

Самсонов — ректор — сказал, что это всего на три недели, до постановки. Выпускники ставят «Сильфиду» на сцене Мариинского ко Дню работника культуры, и он принял «педагогическое» решение не вводить меня в основной класс до премьеры. «Сейчас, когда у детей весь день занят репетициями, не совсем подходящее время». Или не совсем подходящая я.

Стол ректора сплошь заставлен сувенирными фигурками и статуэтками — балетными, конечно. Фарфоровые и латунные балеринки с тонкими ручками и точёными ножками выглядят совершенством, но не способны двигаться. И поэтому не имеют ничего общего с балетом. Та, что на самом краю, вытянулась в пятой на полупальцах.

— Стоять! — срывается на крик Виктор Эльдарович, репетитор, когда мы в классе входим в эту позу. — Держать! — визжит он и отсчиты-

ПАРТИЯ ЖЕРТВЫ

вает: — Три, четыре... Десять... Двадцать... Ещё! Держим! Ещё!

Вот и он. Тот самый пот: липкий и горячий.

Рассматривая фигурки на столе, я думала о том, что оживи они все вдруг, и кабинет ректора насквозь пропитался бы вонью потных тел и старых пуантов. Но здесь пахло... Мятой. Самсонов брызнул на руки из флакончика, растёр ладони и глубоко вдохнул аромат, напоминавший бабушкин чай.

Я ждала его внимания, но он не спешил возвращаться ко мне: продолжал то и дело ёжиться и нервно дёргаться, как минуту назад, когда отчитывал секретаршу за безвкусно сделанные программки к предстоящему спектаклю:

— Аллочка, дорогая, ну что это? Кто? Как?! — Он сжал лоб длинными костлявыми пальцами, словно мучаясь приступом головной боли. — Он из Консерватории, конечно, этот ваш новый художник?

Секретарша виновато кивнула. Самсонов потрянул головой, словно пытаясь сбросить то, что видел перед собой, как наваждение, и блестящие чёрные волосы упали на лоб. На фоне пересекавших его глубоких морщин они выглядели странно: уж лучше бы с проседью как-то красил — смотрелось бы гораздо естественнее.

— Нет! Нет! И нет! Уберите эту красноту! — продолжал возмущаться он. — И шрифт не тот, и

вот эти вензеля — безвкусица какая, ну что это? Откуда? Консерваторские любят такое, но среди балетных это моветон! Есть классический вариант программы Мариинского, его и возьмите за основу! Мы выступаем в лучшем театре страны, но то, что вы мне предлагаете... Ну этот вариант для бродячего цирка шапито. Никогда, дорогая моя!

Девушка слушала, потупив взор.

— И ваша невнимательность, Аллочка, я должен сказать! Это уже не в первый раз у нас с вами. Ещё одна подобная история, и я буду вынужден задуматься о том, насколько вы уместны здесь!

Аллочка залепетала какие-то оправдания, долго извинялась, обещая всё исправить, но наконец бесшумно скользнула за дверь, забрав со стола злополучную программку, к которой Самсонов брезговал даже прикасаться.

Я тоже не стала бы трогать её. Пестривший аляповатой краснотой листок напомнил мне другой — тот, что я держала в руках много лет назад. Куцый, отпечатанный на дышавшем на ладан принтере гарнизонного дома офицеров, он сплошь был покрыт узором, что называется, «с претензией»: там были трубящие толстощёкие купидоны, нелепые завитки, какие-то шпаги, развевающиеся флаги...

Если смотреть не моргая, сквозь пестроту рисунка, словно застывшие театральные маски, про-

ПАРТИЯ ЖЕРТВЫ

ступали искажённые лица. В них мне виделись злоба, боль, ужас. Я разглядывала листок под разными углами, стараясь уловить новые и новые выражения, но красивых и счастливых лиц не выходило: только перекошенные гримасы. Когда воображение иссякло, я переключилась на текст — в программке были отпечатаны фамилии выступавших. Расплывшиеся чернила делали их едва читаемыми, но одно имя я хорошо знала: моя мама танцевала в тот вечер. Тогда-то на сцене я и видела её в последний раз.

Когда мы остались наедине, ректор уставился на меня так, словно за эти пять минут разборок с секретаршей успел уже напрочь забыть о том, кто я такая, но спустя секунду в его взгляде появилась ясность и... разочарование.

Он спросил о причине моего перевода. Снова. Я повторила: мой папа военный, и его направили служить в Ленинградскую область. От этих слов Самсонов сначала сморщился, а потом всплеснул руками и снова схватился за голову.

Он, конечно, уверен, что отец должен был оставить меня в Перми — дать закончить училище. Самсонову невдомёк, что для отца танцы — блажь, а не профессия, и он решил, что если мне не светит будущее примы, то нет смысла «носиться с этим балетом», а надо думать о поступлении в «нормальный вуз». Мне повезло, что он дал до-

бро на то, чтобы в Питере я жила отдельно. Правда, я соврала, что мне дали место в общежитии.

Самсонов слушал меня со скорбным выражением лица — для него общение с теми, кто не «в балете», сродни кошмару наяву. А потом резко сменил тему.

— Алиночка, я рад, что мы поняли друг друга... Относительно вашего ввода в класс, — он поджал губы. — Это вынужденная мера, пока не схлынет напряжение. Эта постановка... Не выпускной спектакль, конечно, но суть та же. Это дебют на сцене Мариинки для большинства наших ребят и... Ну, сами понимаете, всё серьёзно. А вы... Ну, вы — конкурентка, да, — он покашлял, — я хочу сказать, что они так считают, девочки нервничают, конечно. И мальчики тоже. А сейчас это не нужно.

Я кивнула — не нужно, так не нужно.

— Пока поработаете с Виктором Эльдаровичем, — продолжал Самсонов. — Это прекрасный репетитор. Он посмотрит на вашу технику, скорректирует, что нужно. А уже потом начнёте посещать дневные классы. После спектакля мы начинаем подготовку к государственному экзамену — вы будете готовиться вместе со всеми. Ну а эта пара недель вам поможет войти в ритм, посмотреть на наши требования. Пермское — одно из лучших в стране, но здесь у нас всё немножко по-другому, вы должны понимать.

ПАРТИЯ ЖЕРТВЫ

Понимаю, ещё бы нет. И я уже готова была мысленно поблагодарить его за то, что не сказал самое главное и самое ужасное. Но он сказал.

— И что касается... Вашего будущего в балете, — Самсонов снова поджал губы. — Вы понимаете, что я должен об этом сказать сейчас, чтобы не было недопонимания. Конечно, всё это может открыться только на сцене в полноценном дебютном спектакле и, хотя мы с педагогами видели ваши вариации, мне сложно сейчас...

Он замолчал и шумно выдохнул, собираясь с силами для того, чтобы вынести мне приговор:

— Одним словом, Аллочка... Ой, Алиночка, прошу прощения, дорогая... Одним словом, вероятность того, что конкретно вы являетесь очередным Воплощением Искусства, крайне мала.

Он ждал моей реакции, но я едва кивнула. Мала! Да она равна нулю, эта вероятность! Я не Воплощение. Я знаю. Лучше тебя, лучше всех вас. Но я танцевала задолго до того, как поняла это, и танцевала после.

Да и он сам — бывший премьер Мариинки, Заслуженный деятель культуры, лауреат бесчисленного числа премий — тоже не Воплощение. «Всего лишь» великолепный танцовщик. Человек.

Для «не балетных» это, наверное, прозвучит бредом, но те, кого мы называем Воплощениями Искусства, — не люди. Как и многие централь-

ные образы балетных спектаклей, они — мистика. Нереальные создания, наподобие Королевы лебедей, Вилис или Сильфиды. Они не играют эти роли, наоборот, выходя на сцену, показывают то, кем являются на самом деле. Их только на сцене и можно заметить. Никогда в классе или репетиционном зале — только на сцене. В свете рампы открывается их истинная суть. У Воплощений отличная от людей физика, не ограниченная сбившимся дыханием, хрупкостью костей или перенапряжением мышц. Они рождаются раз в десятилетие — одна балерина и один танцор из тысяч.

Как и каждый в балетном мире, я мечтала оказаться среди них. Танцевала только ради этого одного, уверенная, что стоит мне взойти на подмостки, как сцена откроет всем, кто я такая на самом деле. Но в училище я не была в топе, и мне не давали ролей.

За глаза девочки называют репетитора Виктор, с ударением на второй слог. Он тощий и прямой, как будто палку проглотил. Голова чуть запрокинута назад, словно он собирался отвесить классический балетный поклон, но у него защемило шею. Так он и ходит, глядя на всех сверху вниз, чуть наклоняя голову вперёд, только если доволен тем, что видит. Здесь, в классе для отстающих, это случается редко. Разве что он смотрит на Женю. Это лучшая девочка с выпускного курса. Она из небо-

ПАРТИЯ ЖЕРТВЫ

жителей, её высоченному баллону не место среди жалких потуг остальных. Она помогает Виктору вести класс.

Это ж надо так визжать! Ему бы в оперу на женские партии, да не возьмут — он ещё и картавит жутко. Пока он обращается не ко мне, это можно выносить. Но в первом арабеске, случайно задев ногой стоящую позади девочку, я чувствую, как к лицу приливает жар, и понимаю, что скоро — совсем скоро — придёт и мой черёд.

М-да... Секретарша у Самсонова и правда не блещет внимательностью: всучила мне ключи от квартиры, ни словом не упомянув о том, что жилплощадь как бы совсем не пустует! У меня чуть ноги не отнялись от ужаса. С трудом втащив чемодан на последний шестой этаж, я вставила длинный и плоский, как лезвие для подрезания пуантов, ключ в замочную скважину, и на тебе: заперто изнутри.

Тяжёлая щеколда железного засова раз за разом ударялась о косяк, когда я дёргала дверь на себя. А потом изнутри послышался скрип половиц, и на пороге возникла растрёпанная старуха. Я решила, что ошиблась адресом. Но всё оказалось куда интереснее.

— А, из Вагановки? Позднёхонько, — старуха, шаркая, отступила в сторону, пропуская меня в квартиру. — Входи, дочка, входи.

Старая балетоманка завещала квартиру академии, и они не стесняются распоряжаться ею по своему усмотрению, не дожидаясь момента, когда последняя воля хозяйки вступит в силу: Эльвира Альбертовна — так её зовут — рассказала, что я уже не первая из студентов, кто селится у неё.

Квартирка, конечно, ещё та... Из плюсов только расположение: сразу за Невским, до академии рукой подать. Но вот внутри... Один шаг с порога, и ты на кухне, отгороженной от прихожей посеребренным от пыли доисторическим буфетом. Шаг вправо — почерневшая от гари газовая колонка, шаг влево — обеденный стол, покрытый липкой клетчатой клеёнкой. Потолок в паутине трещин, а на дощатом полу — протёртый до дыр палас. Я споткнулась о него, проходя через кухню в свою комнату.

Эта квартира, как объяснила хозяйка, «огрызок от бывшей барской». На самом деле она намного больше — пятикомнатная, что ли. После революции была коммуналкой, а в пятидесятых её разделили на две. Трёхкомнатной достался вход с парадной лестницы. Двухкомнатной, в которой я теперь живу, осталось довольствоваться чёрным.

Моя комната — совсем крохотная — примыкает к кухне. Хозяйка живёт через стену, к ней ведёт узкий коридор за буфетом. Там же, в коридоре,

ПАРТИЯ ЖЕРТВЫ

дверь в кладовку, которую она называет чуланом, и ванная с туалетом.

Эльвира Альбертовна оказалась «само гостеприимство» — и шагу не давала мне ступить, предлагая то «чайк», то котлетки, которые «вот-вот подойдут». Ну да, в десять часов вечера самое время! Мой ужин — гречневая каша и пол-яйца. Вторая половина пойдёт на завтрак вместе с обезжиренным творогом.

От чая я не отказалась, но тут же пожалела об этом, заметив на кромке кружки грязно-серые разводы — та же липкая грязь покрывала всё на кухне. Эльвира Альбертовна, правда, долго извинялась за беспорядок, признавшись, что после инсульта у неё не осталось сил держать в чистоте настолько ветхую квартиру. Похоже, приглашая вагновских к себе, она рассчитывала на помощь в её содержании. Но с этим никто не спешил.

Последствия инсульта сказались и на её внешности: мутно-белёвые глаза, трясущиеся руки и наполовину застывшее лицо, которое, стоит ей улыбнуться, выглядит перекошенным.

Улыбалась она часто, особенно когда говорила о балете. Вращая негнушимися пальцами тяжёлую ручку прикрученной к столу мясорубки, Эльвира Альбертовна рассказывала о том, что сама когда-то танцевала.

Она повторила это уже несколько раз, но я смотрела на её оплывшую фигуру под выцветшим засаленным халатом, стоптанные тапки на широких ступнях и в упор не могла разглядеть в ней балерину. Из сценического у неё был разве что парик. Эту деталь я, признаться, поначалу упустила, но она призналась сама, сдвинув шапку искусственных волос со лба и обнажив рябую лысую кожу. Когда она убрала руку, на волосах остались ошметки мяса.

Оказалось, Эльвира Альбертовна закончила Вагановку в сорок первом году, а выпускной спектакль танцевала уже в эвакуации. Потом переболела тифом, и кости стали хрупкими, а растяжка ушла. Она так и не вышла на сцену Мариинки, хотя и проработала там всю жизнь — сначала кем-то типа завхоза, а потом в пошивочном цехе («Каждый коридор, каждый закуток в театре знаю...»).

О балете она говорила с придыханием. Ржавая мясорубка скрипела, раскачивая рассохшийся стол и выплёвывая в тазик жидкие кучки неаппетитного сероватого фарша, а она разливалась трелями о том, как смотрела дебютный балет Лопаткиной из-за кулис и как провожала Захарову, когда та уходила в Большой. Она и на меня смотрела как-то по-особенному, как будто я — фарфоровая кукла со стола ректора — часть мира грёз.

ПАРТИЯ ЖЕРТВЫ

Но для меня он — этот мир — больше походил на скрежетавшую передо мной мясорубку. Я попала туда маленькой девочкой, а теперь он вот-вот будет готов изрыгнуть меня красно-белыми ошметками, которые с неприятным звуком шлёпались в тазик. Театру не нужны отбросы. Театру нужна котлетка. А мне нужна работа. И это значит, что надо во что бы то ни стало попасть в театр.

В моей комнате царил полумрак: плафон лампы под высоченным потолком зарос грязью настолько, что едва просвечивал. Затхлый воздух. В шкафу пакеты, набитые каким-то тряпьём. На стене ковёр, вобравший в себя всю пыль этого мира...

Мне хотелось одного — умыться и лечь. Кухонная газовая колонка, гревшая водопроводную воду, с виду походила на ту, к которой я привыкла в гарнизонной квартире в Перми, где мы с папой прожили последние семь лет. Там я с лёгкостью поджигала фитиль вслепую, здесь же сделать это, не заглядывая в прорезь, оказалось нереально. Но и наклоняться вплотную к ней было опасно: фитиль зажигался не сразу, а скапливавшийся при этом газ вспыхивал, пламенем вырываясь из дырки.

Когда это случилось впервые, я поняла, почему колонка выглядит насквозь выгоревшей: мне обожгло руку так, что скукожился лак на ногтях. Закусив губу от боли, я бросилась к раковине и повернула кран холодной воды. Облегчение пришло

Ирина Кавинская

сразу, но я продолжала держать руку под струёй, вспоминая, захватила ли из дома мазь от ожогов.

Боль отвлекла меня, и прошло немало времени, прежде чем я заметила, что текло из крана. «Вода» — наименее подходящее слово. Ржавая до черноты жижа, как будто кран не открывали тысячу лет. Внутри всколыхнулась брезгливость: мне не хотелось, чтобы эта грязь касалась меня, но стоило отнять руку, как кожа начинала гореть.

Жидкость оставила красно-бурые разводы на руках, и пахли они теперь отвратительно — застоявшимся болотом и плесенью. Запах въелся настолько, что я чувствовала его даже ночью, лёжа в постели. Хуже того, мне казалось, что он пропитал комнату насквозь, отравив воздух. Я открыла форточку, но это не помогло: ни ветерка, ни дуновения не проникало ко мне, как будто окно оставалось наглухо закрытым. В горле саднило: я помню, что закашлялась во сне. Мне не хватало воздуха и снилось, что кто-то душил меня.

Глава 2

ЖЕНЯ

ВЕЧЕРНИЙ КЛАСС

Да уж... Зря время потратила. Нет бы успокоиться после Каринкиной травмы, а я, наоборот, стала какая-то дёрганая. Приспичило посмотреть на новенькую. Лучше бы вообще не знала, что она перевелась! Виктор, конечно, скакал от радости, когда услышал, что я готова помогать в вечернем классе. Какой бред! Евгения Пятисоцкая в классе «для отсталых»!

Моя фамилия уже в афишах: я — Сильфида, неуловимый дух воздуха. Репетирую днями и ночами так, что не то что пальцев, ступней не чувствую! Серьёзно. На днях в ванной неудачно угодила ногой прямо под дверь, содрала кожу, поцарапала пальцы — ни намёка на боль.

Но мне же больше всех надо, как всегда. Не удержалась. Решила хоть одним глазом взглянуть на то, что нам подсунули за пару месяцев до выпускного. И зря потратила время. Теперь торчать здесь вместе с этой курицей и остальными неудач-

никами до самой постановки — просто так Виктор не отпустит.

Даже странно, что она из Пермского: выворотность — ноль, ноги мягкие, «иксами» не пахнет, руки болтаются в пор-де-бра. Жалкое зрелище. На что она рассчитывает, я не знаю. Прыжка я ещё не видела, но Виктор и не даст сегодня — весь вечер будем тереться у станка, ну и, может, прогоним пару комбинаций на середине.

Какие-то десять минут класса, и она вся потная — и это задолго до батманов. Я стою в центре класса, но и здесь разит, как в конюшне. Наклоняясь в очередном пор-де-бра, нюхаю собственную подмышку. От меня тоже воняет. Но я с утра скачу с общей репетиции на сольную, а потом ещё и в этот «мусорный» класс. Скорее бы уже спектакль.

Я знаю «Сильфиду» наизусть, не только свою — все партии. Я смогу станцевать всё одна: и за Джеймса, и за Эффи, и за всю эту их шотландскую родню.

В этом году маленький выпуск, девочек всего шестеро... Нет, пятеро. Конечно, пятеро — никак не привыкну, что Дашки больше нет... Так вот из пятерых: Каринка выбыла надолго — так что она тоже не в счёт, Таня и Эмма безнадежны, а Лера вечно, как неживая. Если бы только я верила в «партию Жертвы», даже не знаю, кого из этих несчастных предпочла бы для неё.

ПАРТИЯ ЖЕРТВЫ

Таня в детстве перезанималась гимнастикой, нарастила мышцы, как у бодибилдера, а потом молилась, чтобы переходный возраст убрал их, сделав из неё балерину. Но — о, ужас! — с возрастом тело не вытянулось, а, наоборот, раздалось, так что теперь на эту грудку сала в пачке без слёз не взглянешь.

У Эммы жуткие ноги: природных данных ноль, поэтому, хотя работает она как вол, выглядит не выпускницей, а первогодкой-переростком.

Лера по жизни ползает, как сонная муха, как ни орал на неё Виктор, но при идеальном батмане выдать хоть малейшую эмоцию она не способна... Каринка разве что могла, поднапрягшись, дотянуть до меня, но и та сломалась. Должна была.

А я не сломаюсь. Я буду танцевать, как никто до сих пор. Меня видел Самсонов, видели все — а теперь я докажу им на сцене, что я и есть Воп...

Новенькая в арабеске заехала ногой прямо в лоб третьегодке. Я от смеха чуть с позиции не свалилась. Ну, вообще! Знала бы, что тут такое, не вписалась бы в этот бред! А ведь говорила мне Коргина: «Женя, вам там делать нечего. Нужно сконцентрироваться на спектакле...» Хотя, конечно, она прекрасно знала, для чего я рвусь в эту богадельню.

Никогда моей ноги не было в этом классе для «прокажённых», но вот снизошла. Сама виновата.

Ирина Кавинская

Вечно «в каждой бочке затычка», и тут должна всё первая узнать, всё увидеть. Как будто был хоть малейший шанс, что её введут в постановку за три недели. Да Самсонов не пошёл бы на это, даже если бы она танцевала как Вишнёва! И я знала это, но всё равно напросилась в класс. А теперь в ушах звенит мерзкий голос Виктора: «Девочки, смотрим на Женю!», «Женечка, покажите», «Женечка, ещё раз!». Слышу его визг, и блевать хочется.

Но он не должен об этом знать. Ни за что. Он считает себя моим любимым репетитором. Готовит со мной сольные вариации из «Сильфиды» — оттачивает каждый шаг до совершенства. О, в этом он хорош! Видит партию так, как будто сам танцевал. Ищет новые нюансы, связки, которые пойдут именно мне — кто бы что ни говорил, а у него нюх на это, как у пса. Он сделает мою партию неповторимой. Такой, чтобы меня запомнили и взяли на стажировку в Мариинку ещё до выпуска. Поэтому он мне нужен.

Но я не забуду. Никогда не забуду, как орал на меня, когда я была первогодкой. Как хлестнул однажды скакалкой по ногам. Не за технику, конечно, — она у меня всегда была идеальной — за дисциплину. Теперь считает меня своей лучшей выпускницей. Всем затирает про «свою Женечку». Ага-ага! Встретимся через год у служебного входа в Мариинку, и, может, — хотя и вряд ли — я сжальюсь и дам тебе автограф.

Глава 3

АЛИНА

ВЕЧЕРНИЙ КЛАСС

Ронд ан деор на высоких полупальцах. Я неудачно развернула ногу, и мышца в паху, кажется, вот-вот треснет. Виктор смотрит на меня в упор и, остановив музыку, начинает считать: «пять... десять... пятнадцать...». Он считывает взглядом мою позу, морщится, словно ощущая, как мне больно. Он знает, что исправить положение, не выйдя из позы, я не могу. Но продолжает считать, а я должна терпеть, чтобы в следующий раз не повторять этой ошибки. «Двадцать... двадцать пять...» Терпеть. «Тридцать... тридцать пять...»

Даже самые малотехничные девочки в вечернем классе смотрят на меня, как на странное нечто. И, конечно, видят все мои ошибки, хотя и сами не идеальны. Женя только идеальна. Машет ногой в батмане, и я чувствую, как от неё идут размеренные колебания воздуха: чётко, как маятник. И легко, хотя её спина блестит от пота: его не спрячет даже лучшая ученица. Но у неё, вот стран-

но, пот — единственный признак натуги. Каждый выпад — свободный, каждое движение — открыто. Я бросаю взгляд в зеркало и вижу собственное перекошенное лицо. Хорошо, что она не видит. Она поглощена движениями, ни на кого не смотрит. А уж меня-то в упор не замечает.

— Выправь ногу, милочка, выправь! Где выворотность?! — Слышу визгливый голос прямо над ухом.

Он больно тычет в оттянутую в тандю голень, а когда я не меняю положения, хватается за неё и с силой выворачивает наружу:

— Я должен это видеть вот так, понимаешь ты это?

Я пытаюсь удержать ногу, но перенапряжённая мышца разворачивает её в прежнее положение. Виктор хлопает в ладоши, и музыка смолкает. Он смотрит на меня. Это взгляд опытного балетного репетитора: взгляд-расчленение.

— Милая, мы слышим хорошо?

Я киваю.

— Слово «выворотно» знаем?

Киваю.

— Сделать в состоянии?

Я выворачиваю ногу от бедра так, что, кажется, тазовая кость вот-вот воткнётся куда-то не туда и застрянет там, развороченная, как у сломанной куклы.

ПАРТИЯ ЖЕРТВЫ

— Мы работаем так в каждой позиции, — Виктор смотрит на меня немигающим взглядом.

Он говорит с бездарностью.

— Начали, — он хлопает в ладоши, и музыка возобновляется. — Два батман тандю вперёд, два батман тандю в сторону. Три батман тандю под руку, три — назад. И целый крест. Деми-плие. Всё обратно.

Он не выносит слёз, ещё вчера я поняла это. Девочка с четвёртого года застопорилась на гран-батмане. Я-то знаю это жуткое чувство, когда мышцы просто не тянутся. Накануне всё было нормально, полчаса назад всё было нормально, но в тот момент, когда смотрит репетитор, — бац, и всё — как отрезало. Я — негнушееся полено. У неё хорошие данные, хотя и видны проблемы с весом, но это переходный возраст. Кому, как не репетитору, знать об этом. Но он, стоило ей недотянуть несчастный батман до экарте, ну просто взвился. А когда она начала всхлипывать, стало только хуже.

Поэтому я, стискивая зубы, стараюсь держать эмоции в себе, чтобы не стало хуже. Стараюсь держать, но знаю — хуже всё равно станет.

Сегодня утром Эльвира Альбертовна вытащила с каких-то антресолей альбом — я таких в жизни не видела — огромный, с плотными картонными

листами, между которыми вклеена полупрозрачная калька. По тому, как она тряслась над ним, было ясно, что это что-то очень ценное. Я решила сначала, что это фотоальбом из её юности. Но нет. Это оказалась коллекция. Она собрала собственную коллекцию Воплощений.

Здесь были газетные и журнальные статьи и фотографии балерин начиная с Павловой и заканчивая современными звёздами Большого и Мариинского. Но только Воплощения. Точнее те, кого она считала такими. Её главной гордостью были совместные фото — судя по изменениям в её внешности сделанные десятки лет назад — с Плисецкой, Ананиашвили, Колпаковой... Но особенно она гордилась автографом Нуреева, который взяла у него, когда тот приезжал в Мариинку в конце восьмидесятых после многих лет жизни за границей. На фото Рудика — так она его называла — стояла не только его подпись. Рядом с пожеланием крепкого здоровья и долгих лет «Эльвирочке» было и второе имя: Марго Фонтейн.

Она была многолетней партнёршей Нуреева в Королевском балете Великобритании. Встретила его, уже собираясь завершать карьеру, но их дуэт вознёс её на новый, абсолютно недостижимый уровень. Их па-де-де долгие годы считалось эталонным. И всё же странно, что Нуреев заморочился

ПАРТИЯ ЖЕРТВЫ

тем, чтобы собрать на своих фотках и её подписи. Ведь он был Воплощением Искусства. А она — нет.

Хотя Эльвира Альбертовна так не считает. Она уверена, что и Фонтейн, несмотря на откровенно плохие ноги, была Воплощением. Ей, мол, подтвердил это сам Нуреев.

Он и о Жертвах, по её словам, рассказывал. Якобы помнил их, растворившихся в танце. Бред, конечно... Но она говорила так уверенно, что я не стала спорить. Великий Нуреев был падок на сенсации, мог и приврать о том, что помнит тех, кто стал Жертвой ради него. Для всех остальных они словно бы и не жили, так что правды всё равно никто не узнает...

— Музыка, милочка, музыка!

От голоса Виктора у меня взрываются уши. Он произносит слово «музыка» словно повизгивая: «музыка». Так нелепо.

— Ты слышишь хоть что-нибудь?! Скажи мне, для кого это всё? Ты же мимо такта делаешь!

Я пытаюсь перестроиться и поймать музыку, но выходит плохо. Резкий хлопок, и в зале воцаряется тишина.

— Мы делаем пор-де-бра вперёд, а не заваливаемся, как поломанное бревно! Женя, покажите.

Идеальная Женя склоняется в идеальном пор-де-бра, и класс почти синхронно выдыхает.

— Ты видишь? — Опять ко мне. — Руки, как у дохлой курицы, не болтаются! Идёт наклон, а не шатание туда-сюда! Повтори.

Все глаза на меня. За что? Снова пот. Тот мерзкий, холодный. Сейчас будет плохо, и я это знаю. Они припиливают меня взглядами к станку. Второгодки, которым, похоже, уже светит отчисление, хотя только вчера они радовались, что поступили в недосыгаемую Вагановку, шепчутся. Третьегодка, которую я вчера задела, отступает назад, как будто моё пор-де-бра ядовито. Идеальная Женя впервые за всё время смотрит на меня и кривится. У неё яркая мимика — то, что надо для балета. Я догадываюсь, о чём она думает. Как и все здесь: первогодки, репетитор, да и я сама, — идеальная Женя знает, что я сейчас слажаю.

Я цепляюсь левой рукой за палку, встаю в первую позицию. Слышу собственное сбившееся дыхание. Правую руку, слегка согнув, поднимаю вверх. Затем наклоняюсь вперёд. Капля пота противно скользит по спине. Возвращаюсь в первую. Отклоняюсь назад, прогибаясь под лопатками. Мёртвая тишина взрывается визгом:

— Это что?! Что я только что говорил, милая? Руки держим! Не болтаются руки — можно это понять? Напряжение в кисти, напряжение в предплечье — дай мне движение, — он взмахивает ру-

ПАРТИЯ ЖЕРТВЫ

кой, показывая, — это всё не должно как тряпки болтаться! Повтори.

Класс молчит. У меня от их «переглядок» мурашки. Дыхание вырывается какими-то неровными толчками, и я не могу сделать полный вдох, воздух застревает в груди. Он стоит где-то там, поперёк диафрагмы, когда я повторяю движение, стараясь напрягать руки, насколько могу.

Виктор качает головой:

— Мне это не нравится, милочка, нет. Что у тебя по классике?

— Три, — выдавливаю я.

Я ни на кого не смотрю, но подмечаю в зеркалах, как девчонки снова переглядываются.

— Я не вижу работы на три.

Он отворачивается и хлопает в ладоши. Все возвращаются к станку, а женщина за пианино начинает долбить всё те же гаммы. Она единственная не смотрела на меня только что — читала роман, втиснутый на пюпитр рядом с нотами. И сейчас читает, глядя мимо нот. Для неё крики Виктора не более чем фон. А для меня...

Не три, это значит — два. Два — это отчисление. Отчисление на выпускном курсе — это конец. Снова перехватывает дыхание, но на этот раз от подступающих к горлу слёз.

У меня не такая плохая техника! Да, мне далеко до этой Жени, далеко даже по данным, не то

что по выхлопу, но я могу танцевать! У меня прекрасная музыкальная память, покажите мне любую комбинацию, любую вариацию — и я с первого раза запомню! Но я ненавижу, когда на меня пялятся, как сейчас. Ненавижу, когда орут. Только из-за этого я как ватная. И ничего не получается...

Слёзы катятся сами, а я не могу даже вытереть лицо — держу руки в третьей. Ещё и нос заложено — дыхание снова мимо ритма. Всё плохо. И утром я знала, что так и будет.

В этом городе, похоже, никогда не бывает светло: небо словно замазано плотным слоем серого сценического грима, и полдень легко спутать с вечерними сумерками. Рука сама потянулась к выключателю — щелчок — и кухню залил тусклый масляно-жёлтый свет, такой же липкий, как и клеёная скатерть, на которой лежал альбом.

Среди пожелтевших страниц я нашла ещё одну фотографию. Выцветший чёрно-белый снимок девушки, которую я не узнала, хотя что-то в её чертах казалось знакомым. Я долго копалась в памяти, пытаюсь сообразить, кого она мне напоминала, но сама удивилась, когда меня, наконец, озарило: неужели ту самую Фонтейн?..

Но это была не она. Агата — так её звали — оказалась подругой Эльвиры Альбертовны по Вагановке. Она отказалась от эвакуации из-за оставшихся в городе матери и сестёр и погибла в бло-

ПАРТИЯ ЖЕРТВЫ

каду. Как и все балетные, она, конечно, мечтала оказаться живым Воплощением Искусства, но танцевать на настоящей сцене ей так и не пришлось.

Свет лампы, порождая нагромождение длинных бесформенных теней, только сбивал с толку, и чтобы получше рассмотреть фото, я решила подойти к окну. Но, отдёрнув плотный тюль, содрогнулась от отвращения.

За заляпанным стеклом между широкими рамами были навалены яблоки, груши, мандарины. Размякшие кучи гнилых до черноты фруктов, поросшие зеленью и усыпанные белёсыми жирными личинками. Среди них копошились черви, ползали огромные мухи.

— Что, попортились, дочка? — Хозяйка прошаркала к окну и отдёрнула тюль ещё шире. — Надо перебрать, мало ли на компот ещё что-то... Кое-что...

Она стояла рядом со мной. Так близко, что я чувствовала, как ходят ходуном её руки. Немощная, полуслепая — внутри у меня поднималась жалость. Но, заметив, как у края её рта с неподвижной стороны лица подтекала слюна, капая с подбородка на засаленный халат, я ощутила тошнотворную горечь во рту.

Как я ни ругала себя за эту неуместную брезгливость, даже сейчас что-то словно распирает изнутри: от одного воспоминания тошно.

Ирина Кавинская

Ассамбле в третий арабеск. Виктор смотрит на меня и хлопает в ладоши. Я боюсь того, что вот-вот услышу. Но он выдыхает:

— Закончили, девочки. Завтра жду снова. Женя, спасибо.

Идеальная Женя делает классический поклон. И улыбается хищной сценической улыбкой.

Глава 4

АЛИНА

ВЕЧЕРНИЙ КЛАСС

Фраппе. Открываем ногу в сторону. Три плие. Деми-ронд. И пти-батман с рукой.

— Ну спину-то держать надо, милая!

Голос Виктора слышен сзади, и какие-то пару секунд я всё ещё надеюсь, что он обращается не ко мне, хотя ощущение деревенеющих под его взглядом мышц не спутаешь ни с чем.

— Здесь напрягать надо! — Он больно тычет меня в бок. — И здесь.

Очередной тычок под лопатки. Там, где он касается, надолго остаются красные следы. А потом краснота сходит, и проступает синюшность. Ещё в Пермском я привыкла смазывать синяки «Лиотоном»... Запах отвратительный, зато реально работает — только мазать надо толстым слоем. Но накануне вечером я перерыла комнату вдоль и поперёк и не нашла его: и куда только сунула?

А ещё вчера я сорвалась и впервые за последний год наелась так, что больше не лезло. Наелась её котлет.

К вечеру от голода у меня сводило живот. Может, сказывается стресс, но мне хотелось мяса, да так, чтоб посочнее и пожирнее. Она, как и накануне вечером, жарила котлеты. И, конечно, предложила мне, а я не удержалась.

Мясо я ем регулярно, но в основном постную говядину. А тут — котлеты. И не какие-то там на пару, а жаренные на настоящем масле! Да и запах стоял такой, что слюна разом переполнила рот. Короче, я набросилась: лопала одну за другой, так что жир капал с подбородка.

Вымазавшись в жиру, я потянулась в буфет за салфетками. Пачка лежала за стеклом, но пока я возилась с ней, случайно задела соседнюю деревянную створку. Рассохшаяся так, что не входила в проём, она приоткрылась, выставив напоказ содержимое буфетной полки. Стены выстилали густой мох плесени, похожий на чёрный меховой ковёр. А в глубине плотным рядом стояли хлебные буханки, высохшие и скукожившиеся, как жуткие мумии.

Я к хозяйке: «Тут хлеб испортился у вас...». А она у плиты копошилась, в мою сторону даже не взглянула: «Да я же, дочка, как войну пережила, ни разу ни горбушки не выбросила... Это всё ещё

ПАРТИЯ ЖЕРТВЫ

ничего, пригодится... Кое-что срезать, в молочке размочить, и в котлетки вот пойдёт...».

Она что-то ещё рассказывала про то, как, убираясь в бараке, в котором их разместили в эвакуации, радовалась, случайно найдя в каком-то углу зачерствевшую до состояния «дерева» корку. А у меня в голове вертелось только одно: «в котлетки пойдёт... в котлетки...».

Тошнило меня долго. Как в лучшие годы, когда я тряслась за каждый грамм веса и после любого перекуса меня выворачивало наизнанку. В то время мне казалось, что это нормально, я «просто следила за весом». Пока кости не начали выпирать. И болеть. Пока голова не начала кружиться в обычном плие. Мне было пятнадцать, когда куратор нашего курса вызвала меня к себе. Обычно у нас ругали за лишний вес, но со мной всё было наоборот. «По технике откат, по общеобразовательным откат», — констатировала она.

Я и в зеркале каждый день этот откат видела. Серое лицо, круги под глазами, а волосы... Я в слив ванной боялась заглядывать. Тогда казалось, что прекратить просто. Ну что такого, разве сложно оставить в желудке то, что съел? Но вышло по-другому. Тошнота не проходила, голова весь день кружилась — жуть ещё та. Я терпела, как могла, так и шла в класс, стиснув зубы, а наклоняясь в

пор-де-бра, боялась, что меня вырвет прямо под ноги соседке по станку.

Вообще, два пальца в рот и слабительное — наши лучшие друзья, особенно перед контрольной аттестацией в конце года. Все трясутся перед взвешиванием, снимают даже серёжки. Я тоже так делала, а когда в подростковом возрасте тело начало меняться, перепугалась так, что начала «следить за весом».

Теперь, сидя на грязном полу в туалете, я вспоминала, сколько времени проводила раньше в той же позе. «Столовая — туалет — класс» — вся моя жизнь. Мне казалось, что вместе с рвотой из меня выходило несовершенство, никчёмность, слабость, боль, промахи — всё, что мешало мне быть лучшей. Я готова была на жертвы ради собственного будущего, а оно представлялось далёким и прекрасным. Но сейчас оно, кажется, вот уже, как на ладони. Я подняла руку и разжала пальцы. Пусто.

Она всё ещё толклась у плиты, когда я вернулась на кухню. Ссохшаяся, как тот мерзкий хлеб, и сгорбленная старуха медленно раскачивалась из стороны в сторону, а её тень, скользившая по стене, походила на оплывший огарок свечи. Сняв с огня очередную порцию котлет («Завтра кошечкам отнесу, ждут ведь, мои хорошие...»), она отошла к столу за миской фарша. Она двигалась от плиты к

ПАРТИЯ ЖЕРТВЫ

стола и обратно, а потом к почерневшей от ржавчины мойке... Но тень оставалась на месте.

Да, я могла поклясться в том, что видела. Точнее, её тень — та, что силуэтом походила на свечной огарок, — двигалась, но была и ещё одна. Недвижимая. У плиты, там, где на стене плясали отсветы бледно-синего пламени горевших конфорок. Как только старуха вернулась туда, темнота сгустилась прямо за её спиной. Мгновение спустя я сморгнула видение, и оно рассеялось, растворившись в шедшем от плиты горячем мареве. Померещилось — не иначе.

Я научилась подмечать неестественные тени ещё в детстве, когда впервые встретила Призрачную балерину. Она появлялась точно так же — из тёмных пятен, мельтешивших перед глазами на ярком солнце, из неестественно, против света ложившихся теней... Но только что мне просто померещилось. Это не могла быть она. Не после стольких лет.

Впервые я увидела её в шкафу, где всё было пропитано маминым запахом. Тёмная тень, сгустившись в углу, обернулась девочкой в балетной пачке. Это она рассказала мне, что мама растворилась в танце. Что она стала Жертвой ради Воплощения.

С тех пор я дни напролёт просиживала в шкафу — поджидала Призрачную балерину. Когда она появлялась, мы обсуждали мамины номера — на-

звать это слабое подобие танца «партиями» язык теперь не поворачивается — и день пролетал быстро.

Вскоре мы с папой поехали в город — к доктору, у которого было много красивых игрушек. Он разрешил мне выбрать любую, и я взяла новенькую куклу «Беби-бон». Потом долго расспрашивал о Призрачной балерине. В конце доктор сказал, что я могу забрать куклу, но, если возьму, Призрачная балерина больше не вернётся. В моих руках была настоящая «Беби-бон» — такая, какую папа ни за что бы не купил, как ни выпрашивай. Я не смогла удержаться — увезла её с собой. И Призрачная балерина больше не приходила ко мне.

Пока я возилась с куклой, доктор долго что-то говорил папе, но в конце концов отец, не любящий ходить вокруг да около, прямо спросил, не сумасшедшая ли я. Его лицо просветлело, когда врач ответил, что это не так.

А ведь Призрачная балерина предупреждала меня, чтобы я не рассказывала папе о том, что случилось с мамой.

Но дети во дворе кричали мне в лицо, что она сбежала от отца и от меня тоже. А я верила, что это не так, и хотела, чтобы и папа знал правду: мама не бросала нас — она растворилась в танце! У неё не было выдающихся данных, но она осуществила своё предназначение, указав мне мой

ПАРТИЯ ЖЕРТВЫ

путь в балет — путь Воплощения. Эти слова Призрачной балерины я передала папе. И оказалась у доброго доктора.

Я привезла домой из города новенькую «Беби-бон». Купала её и одевала в «самострочные» некачественные платица. Потом забросила, и в конце концов папа отдал её соседской девочке. Я давно бы выкинула эту куклу из головы, если бы не помнила, какой ценой она мне досталась. Я променяла на неё ответ на главный вопрос своей жизни. Ведь многие годы после встречи с тем добрым доктором я ждала возвращения Призрачной балерины, для того чтобы спросить, почему она обманула меня.

— Препарасьон первая позиция. Гран-плие по первой. Два пируэта ан деор закончить в аттитюд круазе.

Экзерсис у станка закончен, мы работаем на середине. Я уже услышала, что у меня кривые ноги. Сутулая спина. Деревянные мышцы и косолапая стопа. Вдох-выдох.

Она мне не нравится, хотя я продолжаю убеждать себя в том, что в ней нет ничего плохого. Что плохая я, брезгующая гостеприимством немощной старушки. Но почему она вечно топчется вокруг, прикасается, будто случайно, присматривается, принюхивается? Да, я слышу, как старуха со свистом втягивает носом воздух, словно обнюхивая

меня. От неё самой несёт сырým мясом и затхло-стью с едва уловимым и странно неприятным прикусом сладости.

Я отворачиваю лицо от её гнилостного дыхания, но оно настигает меня, даже если отстраняюсь. Шаркая по коридору, она то и дело оглядывается, как будто боится, что кто-то идёт следом и вот-вот набросится прямо из-за спины. Шарк-шарк... Тишина. Шарк-шарк... Тишина.

Были бы деньги, я бы сняла другое жильё.

Даже ночью она не спит — делает фарш: если не на кухне, то прямо в своей комнате, мясорубка скрежешет, как будто когтями по железяке. Под дверью квартиры выстроилась батарея мисок для «несчастливых животных». Подъезд провонял мочой и кошачьей рвотой: похоже, «животинки» тоже не в восторге от её угощений.

Лёжа в постели ночью, я пялилась в темноту и ждала одного — тишины, но когда всё смолкло, стало только хуже. Мне мерещились какие-то шорохи, едва слышные скрипы. Укрывшись одеялом с головой, я замерла, боялась пошевелиться. Это плесень. Мне чудилось, будто разрастаясь из буфета, она ползёт через кухню, приближаясь к моей двери. Вот-вот она прорастёт сквозь щели и проникнет ко мне. Да, я чувствую запах — та самая сладковатая затхлость вытесняет воздух в комнате.

ПАРТИЯ ЖЕРТВЫ

Плесень разрастается больше и больше, ползёт по ковру.

Чёрные споры пожирают всё на своём пути, подбираясь ко мне. Я всё ещё лежу недвижимая — боюсь шелохнуться. Но они уже здесь, ползут по простыне. Чёрный саван укрывает меня. Я хочу кричать, но боюсь раскрыть рот. Вскидываю руки, чтобы закрыть лицо, но они покрываются чёрным. Плесень расплзается по коже. Шекочет ступни, подмышки, живот. Я чувствую, как першит в горле — там плесень, разрастаясь, ползёт внутрь меня. Глаза! Мои глаза больше не видят! Передо мной копошащаяся тьма: прямо на слизистой, прямо на зрачках. Плесень покрывает всю меня. Мне не больно. Только щекотно и мерзко от её близости.

Интересно, когда она сожрёт меня, я стану её частью? Тоже стану плесенью?

Если так, то я знаю, что сделаю. Я выползу прочь. И поползу к Жене. К идеальной Жене. Я хочу прикоснуться к ней. Хочу пощупать, из чего сделаны её мышцы — не из стальных ли волокон? Я подползу медленно, так, чтобы она не проснулась. Подберусь совсем близко, коснусь её размятавшихся по подушке волос, почувствую аромат её кожи. А потом укрою её чёрным саваном. Расстворю её в себе. Ты теперь принадлежишь мне, идеальная Женья!..

Я проснулась от странного звука за стеной. Металлический лязг с каким-то присвистом повторялся снова и снова.

От приснившегося кошмара на лбу выступил пот. Пришлось скинуть одеяло: было жарко, как будто я спала под десятком пуховых. Время на мобильнике — полчетвёртого. Стылый воздух комнаты охлаждал тело, словно касаясь кожи ледяными пальцами. Простыня отсырела, пропитавшись потом. Я снова укуталась в одеяло.

За окном выл ветер, задувая в щели разошедшейся рамы. Я отвернулась к стене и уткнулась носом в настенный ковёр — мрачный, как траурное покрывало.

Причина феерической слышимости обнаружилась утром, которое я провела в комнате, избегая встреч с ней. Сделала зарядку, комплекс приседаний, потом начала тянуться. И вот, улегшись грудью на пол в поперечном шпагате, я заметила порог под кроватью. Пришлось подняться и отодвинуть ковёр. Дверь. Между нашими комнатами, в скрытой ковром стене, была дверь. Подёргала — заперто.

Собираясь на занятия, я выжидала, пока возня на кухне стихнет, и была уверена, что мне удастся выскользнуть из квартиры не встретившись с ней, но просчиталась. Я столкнулась со старухой на лестничной площадке. Она раскладывала по ко-

ПАРТИЯ ЖЕРТВЫ

шачьим мискам тошнотворные котлеты, которые мне довелось попробовать накануне.

До сих пор я не находила ничего странного в том, что она кормит кошек: я не раз видела сердобольных бабушек, роющихся в акционных товарах в поисках просроченных сосисок «для кошечек». Замечала их и во дворах, в окружении кошек, бросающихся на еду, как оголтелые, и готовых попутно перегрызть друг другу глотки.

Но с ней всё было не так. Пока она возилась с мисками, кошки держались в стороне. Одни притаились на ступенях, ведущих вниз, другие — на чердачной лестнице. Все ошетилившиеся, с выгнутыми спинами и выпущенными когтями, готовые то ли к нападению, то ли к защите. Дёргались усы, учуяв аромат мяса, животные шипели и скалились, но не приближались к еде.

— Я раньше и домой пускала их, дочка, — зачем-то сказала она, заметив меня. — Да убирать за ними сил нет... А уж как поцапались там две аж до мяса, да ещё ножи со стола свернули, да обкромсались, ой! И не знала, что делать...

Она закончила раскладывать котлеты и, пальцами собрав жирные остатки с тарелки, вытряхнула их над мисками. А потом, шаркая и кряхтя, скрылась за дверь. В тот самый миг кошки слетели с мест. Стоило двери закрыться за ней, как они словно с цепи сорвались. Те, что посмелей, кусаясь и

Ирина Кавинская

царапаясь, вырывали друг у друга добычу, а те, что поумней, — захватили свою долю и затихарились на лестнице, подальше от всеобщего гвалта.

Я знала, что стоит ей показаться из квартиры — даже и с добавкой — как кошки снова прыснут по сторонам. Бросят недоеденное и оцетинятся на ступенях. Какими бы голодными ни были, они не приблизятся к ней. Похоже, они знают что-то, чего не знаю я.